
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
[6] 2012
РОМАН АДАМА ФОУЛДЗА
«УСКОРЯЮЩИЙСЯ ЛАБИРИНТ»
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ:
«УСТРОЕНИЕ САДОВ» ЦЗИ ЧЭНА

Рассказы
Томас Хюрлиман

Аннотация
Томас Хюрлиман. Рассказы
  Вечерняя чарка
    Действие первое
    Действие второе
    Действие третье
    Действие четвертое
    Действие пятое
  Человек, что око, и Хёрнлиман
  Деревянный театр
  От редактора

Аннотация

Томас Хюрлиман (р. 1950), швейцарский прозаик и драматург. В трех исторических миниатюрах изображены известные личности.

В первой, классик швейцарской литературы Готфрид Келлер показан в момент, когда он безуспешно пытается ускользнуть от торжеств по поводу его семидесятилетия.

Во втором рассказе представляется возможность увидеть великого Гёте глазами человека, швейцарца, которому довелось однажды тащить на себе его багаж.

Третья история, про Деревянный театр, — самая фантастическая и крепче двух других сшивающая прошлое с настоящим.

Томас Хюрлиман. Рассказы

Вечерняя чарка
Действие первое

В канун своего семидесятилетия поэт Готфрид Келлер сидел на террасе отеля высоко над Фирвальдштетским озером, пил гумпольдскирхенское и смотрел в сумеречную даль. Здесь, наверху, его никто не знал. Зелисберг, прильнувший к крутому скалистому склону в глубине Швейцарии, был курортом, благами которого пользовались господа со всей Европы и даже из Америки, но почти не пользовались сами швейцарцы. Келлер поднял бокал. Июльский вечер выдался теплым, вино было добрым, с каждым глотком он чувствовал себя все лучше. Завтра ему исполнится семьдесят — круглая дата, самый большой праздник его жизни, он же, юбиляр, обвел всех поздравителей вокруг пальца. В гранд-отеле «Зонненберг» удалось снять номер под чужим именем. Он залпом осушил бокал и в приливе радужного настроения представил себе, как мужские хоры и студенты с факелами, собравшись перед его цюрихской квартирой, будут напрасно сотрясать воздух песнями и ра-

достными кликами: Келлер, давай же, выходи! Ура! Ура! Ура-а-а!

У подножья горы, возле поляны Рютли, прогудел пароход. А вслед за тем раздался звонкий смех: две девушки, приветливо кивнув ему, скрылись за дверями отеля. Ах ты, старый пес, подумал Келлер, как ты рад, что не чувствуешь больше зуда от блошиных укусов страсти.

С наступлением сумерек часто приходила тоска, поэтому, наперекор подагре, Келлер решил посидеть за бокалом вина еще какое-то время. Он боялся помпезной пустоты своей комнаты. Там он лежал бы сейчас на двуспальной кровати, сам ненамного больше ребенка, разглядывал бы потолок и тускнеющий в полумраке узор обоев, а потом, вдруг, на нижний конец ложа опустилась бы черная птица — его тоска.

— Es timmeret[1], — заметил, наполняя ему бокал, долговязый герр кельнер. За минуту до этого он вышел на террасу и журавлиной походкой приблизился к гостю. Поставив бутылку на сервировочный столик, он откашлялся в белую перчатку и явно ожидал, что гость завяжет с ним беседу. Келлер остерегся делать это. Официант

---

[1] Примечания: 1

Смеркается (швейцарско-нем.). (Здесь и далее — прим. перев.).

был из здешних, уроженец одного из лесных кантонов. Ему, цюрихцу-горожанину, люди этого склада были чужды. Когда-то они отвергли власть австрийских герцогов, прогнали со своей земли их наместников, стали сами себе господами, а ныне?.. Ныне они вьются около графинь, банкиров, королей угля и стали, неизменно рассчитывая получить на чай. Некогда свободные и смелые крестьяне превратились в холопов, сделались кельнерами и подручными игроков в гольф.

Под нежным, последним светом небес земля, казалось, обретала и даль, и ширь, и сумрачность. С альпийских лугов доносился перезвон колокольчиков. Зычным голосом, через буковый рупор, пастух монотонно оглашал окрестности вечерней молитвой. Одетый во фрак кельнер стоял теперь у парапета террасы; похоже, наблюдал, как пароход, тая в сизой дымке, пересекает озеро.

Я глубокий старик, мысленно сказал себе Келлер. Он сидел в плетеном кресле, прикрыв короткие ноги пледом, и пил — пил торопливо, пил, чтобы сохранить в душе веселость, хорошее настроение. Повеяло прохладой, темнело. Лишь озеро, будто могло само излучать свет, лежало,

как зеркало из серебра, в глубине темно-зеленого, полного теней ландшафта. Келлер улыбнулся. Годы состарили его, но не ожесточили. Он жил бобылем, но не чувствовал себя одиноким. Птица, рискнул он подумать, хоть и задела его крылом, но когтей в ход не пустила. Сегодня, в канун юбилея, тоска оставила его в покое. Кельнер выпрямил спину, обернулся и взглянул на него. Казалось, он хотел что-то сказать. Келлер втянул голову в плечи. С неба исчезали последние отблески света. Ни звезды, ни луны. Где-то закрыли окно, задернули шторы, перезвон колокольчиков поутих, доносился издалека.

Как вдруг…

Земля, окутанная ночным мраком, пробуждается, в приозерных селах и ближних долинах начинают звонить колокола, где-то совсем близко — треск, шипенье, вспышка, ввысь летит сноп огня, и вот уже все склоны, все вершины объяты пламенем — пейзаж лесных кантонов разом превратился в громадный летний театр с пышной иллюминацией.

Радужного настроения у Келлера как не бывало. «Was händ ächt die Tuble wider z fyre!» [2] — про-

[2] Примечания: 2

"Видно, этим олухам опять приспичило что-нибудь отпраздновать!" (швейцарско-нем.).

ворчал он.

Кельнер подошел ближе. «День рождения одного стихотворца!»

«Что вы сказали?» — Келлер поперхнулся.

«Да, — продолжал кельнер, понизив голос, — верится с трудом, но, увы, это чистая правда: таким вот фейерверком и звоном колоколов на всю округу тут решили отметить семидесятилетие некоего Келлера, Готфрида, поэта из Цюриха, не поскупились ни на дрова, ни на петарды». И хватили через край, по его, господина Венделина, мнению.

«Так, так», — буркнул Келлер.

А господин Венделин, с плохо скрываемой усмешкой: *Свет небесный, ты не поскупись, / Лейся в окна глаз моих, струись!*

Келлер сорвал с себя очки, потер большим и указательным пальцами глаза, хотя знал и видел: то был не сон и не плод хмельного воображения — герр кельнер, который столь нагло и уничижительно процитировал его, стоял в метре от плетеного кресла — долговязый, попахивающий потом. «Юбиляр имеет обыкновение слагать стихи именно в такой тональности, — пояснил он, — процитированные строки появились сегодня утром во всех газетах. Свет, льющийся *в*

окна глаз! Душа, очарованная блеском звезд!» Так вот, ему, господину Венделину, такая поэзия кажется чересчур восторженной, старомодной; иначе, чем поблеклой лирической мишурой, ее не назовешь.

Поэт, в честь которого звонили колокола, а вершины гор горели, как факелы, дрожащей старческой рукой обхватил бокал. Смеяться ему или плакать? Кельнер убрал со стола пустую бутылку и вопросительно взглянул на него.

«Ja, — сказал Келлер, — bringed no e Guttere!»[3]

Он впился пальцами в прутья подлокотников. Кружилась голова. Теперь она была тут — птица была тут. «Вы меня не поняли? — крикнул Келлер с отчаяньем в голосе, — по е Guttere, еще одну бутылку, да поскорее!»

Ноги у кельнера были тонкие, он удалялся, шагая, как журавль. Фалды фрака развевались, захваченные волной холодного воздуха, которая поднималась с озера, не минуя и террасы отеля. Келлер тяжело дышал. Что делать? Бежать!

Поздно. Кельнер вновь стоял возле него и, откупоривая бутылку возле самого уха Келлера, с вызовом заметил, что находит гумпольдскирхен-

---

[3] Примечания: 3

"Да, принесите-ка еще одну бутылку!" (швейцарско-нем.).

ское весьма недурственным.

«Drum suuf en» [4], — сказал Келлер.

Действие второе

Венделин Лимбахер, которого благородные гости звали не иначе как «господин Венделин», гордился правом служить в гранд-отеле «Зонненберг» («самом большом сооружении этого рода в Европе»). Здесь можно было удостоиться знаков внимания со стороны crème de la crème — графов, баронов, тайных советников юстиции самого высокого ранга и даже селфмейдмена из далекой Америки, его преподобия Дугласа Форреста, прибывшего сюда с супругой из Цинциннати. Да, любопытнейшая публика останавливалась здесь, наверху. Мадам Шилицици с семейством и прислугой, из Петербурга, целыми днями сидела в укромном гроте. Барон фон Штеффенс проводил время исключительно меж зеркальных стен комнаты для светских бесед, со скучающим видом созерцая себя в те минуты, когда его одолевала зевота. Полковник Кэмпелл из Лондона, похоже, с наслаждением лечился сывороткой, для

---

[4] Примечания: 4

"Потому его и употребляю" (швейцарско-нем.).

чего ежедневно спускался в один из глубоких, вырубленных в скале подвалов. Что и говорить, оригиналы, но все они, истые ли аристократы вроде графа Чезаре дель Майо из Милана, или такие знаменитости из мира искусств, как фройляйн фон Браузеветтер (с прислугой) из Кёнигсберга, — все они и на сей раз устремились после Five o'clock в свои апартаменты, чтобы переодеться к ужину. Лишь один постоялец не сделал этого — карлик в плетеном кресле. Он даже не привстал с кресла. Господин Венделин кашлянул — кресло не шелохнулось.

Он должен быть именно здесь, как только что стало известно, здесь, в отеле, собственной персоной — Готфрид Келлер, народный поэт и юбиляр. Остановился, говорят, под чужим именем — типичный каприз художника и, конечно же, с расчетом, что высокого гостя рано или поздно узнают. И тогда, по замыслу дирекции, приятно ошеломленного мастера слова пригласят выйти на террасу, чтобы он услышал колокольный звон и увидел огни, зажженные родиной в его честь.

Господин Венделин кашлянул снова, на сей раз громче, однако старикашка — он, похоже, ничего не замечал, ничего не слышал. Сидит в самом центре террасы и в ус себе не дует. Сущий камень

преткновения, как сказал метрдотель Мюллер. Прежде чем пригласить поэта на террасу, надо убрать с нее ворчуна — вместе с его плетеным креслом.

Кашлянуть еще раз? Это было бы ниже его достоинства. Кроме того, работы ему хватало. В бригаде официантов он, господин Венделин, был самым рослым и потому единственным, кто, не пользуясь стремянкой, мог достать до проволоки, натянутой над парапетом террасы. Чиркнув спичкой, он зажег первый лампион, придал ему форму шара и, вытянувшись в струнку, подвесил его к проволоке. Затем взглянул вполглаза через плечо. Старикашка — его соотечественник. Этим и объясняется, почему он так дерзко игнорирует заведенный в отеле порядок: швейцарцы редко выбирают Зелисберг для отдыха, среди великих мира сего они ощущают себя не в своей тарелке. Быть может, рассуждал господин Венделин, это один из тех, что бунтовали в далеком 48-м. С бородой, лицо помятое, а вино лакает, как буренка воду. Господин Венделин брезгливо поморщился. Слава богу, люди такого склада постепенно сходят со сцены. Правда, непрочный союз кантонов они превратили в единое союзное государство, добились принятия конституции, которая га-

рантирует немало свобод, — но того духа, что вырвался в мир из их творений, они не понимают. Когда-то именно они пошли на баррикады, чтобы укоренить в народе идеи либерализма, а теперь с видом угрюмых всезнаек не устают твердить, что свобода, мол, не товар, что ее нельзя пускать с молотка. Их выводит из себя прокладка железных дорог, ведь рельсы-де уродуют наш ландшафт. А величественные гранд-отели видятся им — и взбредет же такое на ум! — геслеровскими крепостями, которые превращают швейцарцев в лакеев интернациональной аристократии, прихлебателей заезжих фабрикантов и толстосумов.

Нет, решил господин Венделин, с такими короткими ножками на баррикаду не взойдешь, это не старый герой-революционер. Скорее он походит на художника — может быть, пейзажиста.

Итак, нужно убрать брюзгу с террасы, причем как можно незаметнее. Келлеровские стихи тому явно не понравились. Это, подумал господин Венделин, может послужить зацепкой. Подойдя к плетеному креслу, он спросил, знает ли сударь имя того, кого сегодня чествуют по городам и весям. Быть может, даже читал его? С минуту царила тишина. Потом раздалось злобное рычание, посыпались непонятные проклятия, и снова

— тишина.

Странный тип, подумал господин Венделин, пора от него отделаться.

Действие третье

Сколько же нелепого в этом мире! Келлер негодовал. Он хотел бежать от всех торжеств, речей и песнопений и вот восседает теперь, как Будда, посреди грандиозного спектакля, устроенного в его честь, — озаренный огнями на вершинах гор, с колокольным звоном в ушах. Мало того, в этом балагане, похоже, собирается участвовать и отель. В саду, близ террасы, — шаги, перешептывание, а кельнер, этот невыразимо жалкий прислужник, разукрасил ночное небо гирляндой из лампионов.

Вечно все складывалось нелепым образом. Всю жизнь он, коротыш, бродил, как дворняга, вокруг мамзелей и дам высоченного роста. Он, лирик от природы, написал толстенный роман, причем — верх несуразности! — в двух разных вариантах. Он стал мастером эпического жанра, но литературный мир — о нелепость за нелепостью! — принимает его всерьез лишь как мастера

новеллы. *Люди из Зельдвилы* [5], творения его молодости, трусили за ним, как аккуратно остриженные пудели.

Кельнер стоял не шевелясь. Келлер, моргая, взглянул на него снизу вверх. В том-то и дело, что этот человек прав. И оттого мутит душу… *Глаз моих окошки распахнуть, / Солнца свет легко в себя вдохнуть, / Мир зовет нас, освещая путь*. Окошки его глаз оказались распахнутыми и для господина официанта, и для проклятого ночного мира лесных кантонов, который вздумал славить его, поэта всей нации. Келлер глубже заполз в плетеную раковину кресла. Как это Шторм, его друг, отозвался о «Вечерней песне»? «Ваша лирика подобна золотому самородку, это — самое прекрасное из того, что вы создали на склоне лет, друг мой Келлер». А ведь творение это лживо, пошло — поэзия для гувернанток.

В долинах замирал колокольный звон. Из ближнего огненного столба вырывались языки пламени, с треском впивались в сухие сучья, искры разлетались и гасли, словно крохотные млечные пути. Келлер провожал их взглядом. Сестра, за которой он долго ухаживал, умерла.

---

[5] Примечания: 5

"Люди из Зельдвилы" — собрание новелл Готфрида Келлера (1819–1890; первый том вышел в 1856, второй — в 1874 г.).

Мать ушла из жизни намного раньше. В сырой земле лежит и его невеста: она покончила с собой незадолго до свадьбы. Его уделом стала одинокая старость. Свет небесный, ты не поскупись Келлер вздохнул. Свет не лился золотыми потоками, мир скупился на яркие краски, он был серым, серой была жизнь, а уж старость — сплошным мучением. У него нет ни семьи, ни друзей… И вдруг, за секунду-другую, Келлер очнулся, пришел в себя, протрезвел: никто ведь не мог знать, что он уединился здесь, наверху. Кому, черт побери, удалось его рассекретить? Неужели кельнеру? Жердяй узнал его?

Келлер хотел заговорить с ним, но кельнер, напоминая бритву, согнулся под прямым углом: отдавал поклон гостям, которые с возгласами «А!» и «О!» радостно, возбужденной толпой, выходили на террасу.

— Что скажите об этой панораме?

— Она просто импозантна!

— Как же должна быть счастлива республика, — говорил с прононсом статный господин, — которая умеет воздать своему пииту столь пламенные почести. Вы его читали, баронесса?

— Только лирику.

— Она смела!

— Но поэтична. Где же граф Ранцау? Он ведь хотел пойти с нами.

— Боюсь, — прозвучало из чьих-то британских уст, — у графа еще кое-какие дела в баре.

И все спустились в нижний сад: кавалеры — с сигарами, дамы — накинув себе на плечи шелковые шали, а два пажа в красном несли за ними, подобно министрантам, кипу нотных листов.

Келлер потянул жердяя за фалду фрака. «Эй, — сказал он, — от кого вы, собственно, узнали, что он здесь, этот Келлер?»

Кельнер все еще стоял, согнувшись в поклоне.

Действие четвертое

Господин Венделин все еще стоял, согнувшись в поклоне, и жадно вдыхал аромат духов, который струился за дамами, словно шлейф. Как только что выразился полковник Кэмпелл? «Боюсь, у графа еще кое-какие дела в баре». По телу кельнера пробежала дрожь. Граф Ранцау был пьяницей и в этот вечерний час обычно уже едва держался на ногах, а полковник Кэмпелл вскользь заметил, что «у графа кое-какие дела в баре». That's it[6],

---

[6] Примечания: 6
Так-то вот (англ).

подумал господин Венделин, в великосветском обществе свой язык: эти леди и джентльмены не напиваются, у них — кое-какие дела в баре. Он решил пользоваться, par occasion[7], такой манерой говорить и не спеша выпрямился. Только теперь он почувствовал, что кто-то все сильнее тянет его за фалду фрака. Что задумал этот карлик? Решил ощипать его, как курицу?

«Wie händ iher gmerkt, dass er da obe isch, de Chäller?»[8]

— От Федерального совета в Берне, — сказал господин Венделин.

Потом наклонился к уху старикашки и тихо, чуть ли не шепотом продолжал: «Из Берна, от Федерального совета, то есть центрального правительства, поступила телеграмма, адресованная Готфриду Келлеру. Великого труженика пера чествуют в эти дни по всей стране. Дирекция сделала вывод, что человек сей находится здесь, под чужим, разумеется, именем, и тем не менее, — он бросил взгляд в ярко освещенный холл, — и тем не менее, уже почти закончены приготовления,

---

[7] Примечания: 7

При случае (франц.).

[8] Примечания: 8

От кого вы узнали, что он тут, наверху, этот Келлер? (швейцарско-нем.).

чтобы устроить поэту на террасе торжественный прием». Господин Венделин кашлянул. «Прием, — повторил он, — состоится здесь. На свежем воздухе. На террасе». Никакой реакции. Тогда он тронул старичка за плечо. «Uusuufe!»[9] — потребовал господин Венделин.

Наконец до ворчуна, кажется, дошло. Он снял очки и, подняв голову, взглянул на него большими, влажными глазами.

Ни дать ни взять карлик, подумал господин Венделин, но голова — импозантна, просто импозантна. Внешность философа и бунтаря? Или художника, работающего на пленэре? Нет, не герой революции и не пейзажист. Так, рассудил он, выглядит швейцарский чиновник. В маленьких глазках — подозрительность, грудь — узкая, ноги — короткие, но упорным сидением за конторками люди этого сорта обрели внушительность, что производит впечатление даже на него, господина Венделина. Он теперь пожалел, что обходился с гостем столь сурово. Взяв бутылку, еще раз наполнил бокал. И кивком головы показал на холл, который тем временем заполнился гостями, представителями дирекции, персоналом. Все

---

[9] Примечания: 9
Допивайте! (швейцарско-нем.).

были взволнованы, готовились к тому, чтобы выразить поэту свое восхищение. Казалось, только одному человеку нет никакого дела до всеобщего ажиотажа. Он удобно устроился в кресле посреди террасы, потягивал вино и что-то бормотал себе под нос. Похолодало. Тем не менее господина Венделина бросило в пот, воротничок сорочки стал ему тесен — что же, черт побери, делать? Поднести кресло к парапету и вытряхнуть неудобного гостя? Лампионы безмятежно покачивались. На гребнях гор полыхали огни. С ближних и дальних лугов доносился перезвон колокольчиков.

Чиновник или не чиновник, но он должен немедленно исчезнуть отсюда, этот твердолобый креслосиделец! Место таким — на празднике стрелков: с носовым платком на голове, каждый уголок которого завязан узелком, с кружкой пива в руке, это простолюдины, думал он, плебс… На приеме в честь поэта, месье, вам делать нечего! Господин Венделин собрался было схватить упрямца за шиворот, но тут из сада на террасу возвратилась дама — та, что недавно справлялась о местонахождении графа Ранцау. Двигалась она на цыпочках и страдала, видимо, близорукостью — ибо приближалась, неотрывно глядя на ворчуна, к плетеному креслу. В двух-трех шагах от

него она вдруг всплеснула руками — и остановилась как вкопанная. «Нет! Не может быть!» — вырвалось у нее из груди. С этим возгласом, шурша кринолином, она устремилась в холл. Господин Венделин озадаченно смотрел ей вслед; осмыслить то, что произошло, времени не было. При виде взбудораженной дамы из толпы гостей, закатив глаза и размахивая руками, выскочил Мюллер. Судя по его сумбурной жестикуляции, внимание метрдотеля тоже приковал к себе брюзга в плетеном кресле.

Неужто этот…

Его ворчливый клиент — никак не поэт. Поэта, решил господин Венделин, уже узнали, сейчас он стоит в холле, и его с трудом удерживают от выхода на террасу, ведь ему не терпится услышать овацию отеля и всего Отечества. Да, дело обстоит именно так. Юбиляр желает явить себя публике, но вынужден ждать. Оттого-то — ужас в глазах дамы и отчаяние во взгляде метрдотеля: плетеное кресло не позволяет начать торжественную церемонию. Убрать его! Но как? Господин Венделин послал в небеса проклятие. Затем бросил взгляд в холл. Действительно, там уже раздавали факелы, скрипачи еврейского ансамбля настраивали свои инструменты. Он должен что-то предпринять, че-

го бы это ни стоило. Колокола уже смолкли, огни постепенно угасают, а ворчун — чтоб ему провалиться! — продолжает лежать в своем кресле и портит всю обедню… И тут господина Венделина посетила спасительная мысль. Поставив бутылку и бокал на серебряный поднос, он высоко поднял его на трех пальцах. «Chumm scho, — процедил он сквозь зубы, — chasch dinne wytersuufe!»[10]

Трюк всегда удавался (даже с графом Рантцау) — любой пьяница спешит последовать за бутылкой. Сделав пару шагов, господин Венделин остановился и оглянулся. Старичонка за ним не последовал. Руки его обхватили подлокотники, плед сполз на пол, а большая голова неподвижно возвышалась над спинкой кресла.

Господина Венделина вдруг осенило. Тот, кто сидит в плетеном кресле и глядит в ночь, на горные склоны и вершины, вонзающие в густую синеву неба последние огненные лучи, и есть поэт Готфрид Келлер. И тогда бутылка на подносе задрожала, пустилась в пляс, опрокинулась — и разлетелась на тысячи осколков. Какой пассаж! Какая бестактность! Руки господина Венделина бессильно опустились, в правой — поднос, в

---

[10] Примечания: 10

Пойдем, будешь пить из своей бутылки дальше! (швейцарско-нем.).

левой — салфетка. Он, неизменно старавшийся проявлять в любых ситуациях благородство, быть учтивым и классически корректным, именно он сказал знаменитому народному поэту прямо в лицо, какого мнения он о его лирике — да никакого!.. Господин Венделин горестно вздохнул. Я должен взять назад свои дурацкие слова, приказал он себе. Не обращая внимания на ужимки метрдотеля, который уже вышел на веранду, он круто развернулся и, согнувшись в самом глубоком поклоне, с хрустом шагая по битому стеклу, двинулся обратно — к поэту.

Действие пятое

Мир скроен из нелепостей, а он, Готфрид Келлер, — под стать этому миру. Как жадно, долгие годы, искал он признания, наконец снискал его, и с тех пор желает, пожалуй, только одного: как бы кануть в темень безвестности. Его, одинокого, приветствуют со всех окрестных гор, славят в долинах, а за спиной у бобыля уже столпились обитатели и хозяева гранд-отеля, чтобы обрушиться на него с дурацкими хвалебными речами и приветственным посланием правительства.

Да будь она проклята, эта телеграмма!

Когда вчера вечером он прибыл сюда, никто не обратил на него внимания. Ни портье, ни администраторам не пришло в голову, что за человеком, который остановился в их отеле под чужим именем, скрывается автор «Зеленого Генриха». Но потом — это явно случилось уже сегодня вечером — пришла телеграмма, и его присутствие здесь обнаружилось. Келлер сжал кулак. Этому государству еще не исполнилось и полувека, а его сыск уже действует с отлаженностью царского. За ним, Келлером, следят, о нем доложили в Берн. Он протянул руку за бокалом, в пустоту, — со стола уже всё убрали. Он хотел обозвать кельнера балдой, но тут же одумался: этот человек заслуживает не порицания, а чаевых — литературный вкус у него хороший, очень хороший. Как он оценил его «Вечернюю песню»? Назвал «поблеклой лирической мишурой». И не ошибся. Келлер хотел теперь это признать. Однако как раз в тот момент, когда он переводил дух, чтобы начать говорить, говорить начал другой — долговязый кельнер. Он выпрямился, с наслаждением прищелкнул языком, будто дегустировал вино, и стал — о, власть нелепостей и превратностей! — брать совсем недавно сказанное обратно, более того, дерзнул с ложным

пафосом расхваливать фальшивые строки. *Свет, льющийся в окошки глаз! /Душа, очарованная блеском звезд!* Он, господин Венделин, хоть и не кончал университетов, хоть и служит всего лишь кельнером кантонного масштаба, но все же способен оценить и смелый полет мысли, и благородное изящество огранки — «Короче говоря, уважаемый мастер, истинная красота обрела под вашим пером форму, а истина со всей ее красотой отлилась в слово. Superb!»[11]

«Чушь», — буркнул Келлер. *Свет небесный, ты не поскупись…* Лейся золотым потоком! Нет, мой дорогой долговязый друг, на самом деле всё серо, серо и мрачно. Это я знаю — и знаю слишком хорошо. И все-таки серое я обратил в золотое, а печальное — в радостное. Почему? Так уж получилось. Чем хуже мне жилось, тем красивее становились слова. Чем красивее становились слова, тем хуже мне жилось. Жилось? Это не было жизнью. Женщины, которых я желал, смеялись надо мной. Моих близких в живых уже нет. Друзья — далече. Приходит ночь, и черная птица начинает клевать мою душу, каждый удар клювом — упрек, обвинение, злой вопрос, на который

[11] Примечания: 11
Великолепно! (англ.).

нет ответа: почему ты такой, какой ты есть? Но я жил и любил в моих книгах, в моих героях. Да, герр кельнер, в этом — тайна моей поэзии. В моих героях, в моих стихах запечатлелась та жизнь, на которую сам я был не способен. Так или примерно так Готфрид Келлер охотно высказался бы, обращаясь к герру кельнеру. Однако сделать это он не успел. Со всех сторон их обступали люди: они появились в оконных проемах, свешивались с балконов, теснились в дверях, спешили выйти с веранды на террасу и через секунду-другую заполонили ее.

«Ура-а-а!» — крикнул кто-то, его возглас сразу подхватили, из нижнего сада в небо с шипеньем взвились ракеты, а красные розы дам, бокалы кавалеров, факелы пажей — «Ура! Ура! Ура!» — начали раз за разом взмывать над их головами. Келлер устало улыбался. Ему придется поблагодарить этих людей. Но как, как произнести речь, если язык еле ворочается? Он порядком выпил, его будет пошатывать, вместо речи получится жалкий лепет. О ты, превратный, двуликий мир: самый торжественный момент в его жизни обернется самым постыдным…

И тут вдруг раздались звуки, подобные рокоту волн и шуму ветра. Запели все, у кого был го-

лос, — повара и гости, горничные и пожарные, скрипачи еврейского ансамбля, гармонисты из окрестных селений, администратор отеля и портье, священник, министранты, студенты, пастухи, гимнасты и, перекрывая своим могучим контральто все инструменты и весь хор, настоящая глыба из уложенных вокруг головы кос, уст и бюста…

«Фройляйн фон Браузеветтер, певица из Кёнигсберга, исполнительница женских партий в операх Вагнера», — гордо возгласил метрдотель.

Келлер кивнул. Подле него свисала длинная рука, он взялся за нее, и тогда, покинув террасу, они вместе полетели в ночь — поэт и господин Венделин, который теперь был птицей, большой птицей-тоской. Они поднялись высоко, над Альпами и даже над звездами. Звезды мерцали далеко внизу, под ними, как осколки разбившейся бутылки. Келлер смеялся и долго махал свободной рукой террасе, которая, кружась, постепенно скрывалась в мглистых просторах Вселенной. Там, внизу, люди пели его «Вечернюю песню», пели от души и с благоговением.

Глаз моих окошки распахнуть,
Солнца свет легко в себя вдохнуть,

Мир зовет нас, освещая путь,
Скоро предстоит нам отдохнуть.

На закате так прекрасна высь,
Блеску звезд, душа моя, дивись!
Свет небесный, ты не поскупись,
Лейся в окна глаз моих, струись![12]

На другой день, 19 июля 1889 года, в гранд-отель «Зонненберг» в несметном количестве стали поступать поздравления. Депеши и телеграммы от студенческих корпораций Швейцарии и Германии, различных обществ и объединений, правительства, поклонниц и поклонников… «Этот ужасный день рождения, — напишет Готфрид Келлер чуть позже, — таил в себе какую-то угрозу».

Он умер в своей цюрихской квартире менее чем через год — за четыре дня до следующего дня рождения.

---

[12] Примечания: 12
Перевод Наталии Корди.

Человек, что око, и Хёрнлиман

Мое имя (Фрунц) лишено какого-либо значения. Я — секретариус, id est [13]человек подневольный, вышколенный для безошибочного письма под диктовку. И если я берусь за перо по своей воле, то лишь потому, что мне суждено было сопровождать осенью 1797 года знаменитого поэта господина фон Гёте в его путешествии по нашей стране — от Шафхаузена до высей Швицер-Гаккена. Там, наверху — да будет это предано огласке уже сейчас, — вечером 29 сентября, в День святого Михаила, произошло событие поистине неслыханное. А посему полагаю вполне уместным поведать потомкам Иоганна Вольфганга Гёте о том, что мне, писарю Фрунцу, довелось наблюдать осенним вечером с одного из уступов этого горного массива: господин фон Гёте поднялся, подобно солнцу, над горизонтом всего того, что человек успел пережить, постигнуть и сотворить за долгие века своего существования. Не станем, однако, забегать вперед. Отправимся сначала в Шафхаузен.

---

[13] Примечания: 13
То есть (лат.).

Достохвальный консорциум господ Майера, Хорнера и Эшера выслал меня навстречу поэту к государственной границе. От имени консорциума — так гласило задание — мне надлежало предложить великому человеку свои услуги, будь то в качестве секретариуса иль квартирьера; и господин фон Гёте, бросив взгляд на рекомендательное письмо, принял предложение немым кивком головы. С той минуты, став его помощником и подручным, я следовал за ним как тень.

В Шафхаузене мы остановились в гостинице «Корона». За табльдотом сидели большей частью французские эмигранты — графини, служители церкви, офицеры из рядов аристократической оппозиции, — и, как мне вскоре показалось, поэт не отличался от этого общества ни внешним видом, ни манерой держать себя, ни тем более своей речью. *Заметил, что взгляд у швейцарцев, особенно у цюрихцев, какой-то застылый*, — записал я (17 сентября, вечером) по его указанию, чтобы он мог потом занести это в свой дневник.

На другой день, спозаранку, в половине седьмого, мы отправились к Рейнскому водопаду и наблюдали со скалы из потемневшего от времени известняка, как с большой высоты низвергаются огромные массы воды. Вода — зеленого цвета, —

кричал господин фон Гёте мне в правое ухо, и было, разумеется, нелегко среди шума и грохота делать записи совсем без огрехов. *Быстрые волны. Хлопья. Пена в падении. Пена внизу — в котловине. Между гребнями волн — ровные струи зеленого цвета, у самих гребней нежно-пурпурный оттенок. Из котловины вода сбегает пенистыми волнами, они бьются о берега, ниже по течению река успокаивается, и вода вновь обретает зеленый цвет.*

Мы вышли из легкого облака тумана, уже пронизанного лучами солнца, встали на сходни с перильцами, господин фон Гёте попросил дать ему полотенце, насухо вытер виски и, показывая пальцем на мою влажную записную книжку, заметил: *В человеке заложено мощное стремление находить слова для всего, что мы видим вокруг.*

Можно ли выразиться яснее? Гёте умел наблюдать, он был всевидцем. Поэтому ему претил застылый взгляд швейцарца, в особенности цюрихца, и в отличие от нас, простых смертных, способных составить себе лишь общее впечатление от Рейнского водопада, поэт смог самым тщательным образом разглядеть и описать не только каждую волну, но и игру красок на ней.

19 сентября мы прибыли в карете из Шафхау-

зена в Штефу, где господин фон Гёте оставался до утра 28 сентября, пользуясь гостеприимством консорциума. Господа обсуждали события во Франции и подолгу с удовольствием рассматривали гравюры Майера. В утренние часы мне были продиктованы несколько статей, одна элегия, одна пастораль, а также большое, очень теплое письмо к Шиллеру. Не без гордости позволю себе заметить, что моей работой великий человек остался доволен. Такие вопросы, как *Записал ли он это?* или *Поспевает ли он?* ему приходилось вплетать между фразами редко, и если мне удавалось с усердной поспешностью извлечь из дорожного архива связку нужных бумаг, то уже казалось, что лишь волосок отделяет могучую голову пиита от одобрительного кивка. В канун того дня, когда мы должны были двинуться дальше, он, как бы ненароком, спросил: *Фруниц, у него хорошие башмаки?*

Не решаясь выйти из почтительного поклона, я вытянул ногу слегка вперед, однако господин фон Гёте, который, как обычно, стоял у окна, мечтательно вглядываясь в осенние сумерки над Цюрихским озером, продолжал диктовать и не заговорил вторично о моей экипировке. Его последнее замечание по моему адресу в тот

вечер прозвучало так: *Пусть он отдохнет, Фруниц. Пусть не пьет слишком много. С восходом солнца мы выступаем.*

«Позвольте откланяться, Ваша милость!» — выдохнул я и выскользнул из комнаты. Утром члены консорциума провожали гостя до пристани. Я должен был водрузить весь багаж себе на спину и уже на коротком пути до судна, ожидавшего нас с поднятыми парусами, ощутил, сколь утомительной окажется прогулка в горы. Господа Майер, Хорнер и Эшер махали платками, пока не слились с зеленым прибрежным кустарником. Поэт, который с момента отчаливания стоял во весь рост на носу судна, велел мне подойти к нему. *Блеск облаков над дальним краем озера*, — зафиксировал я в записной книжке.

Чтобы пересечь озеро, нам понадобилось три четверти часа.

На пристани в Рихтерсвиле толпились паломники, главным образом из Швабии, но художника слова больше интересовали дорожные плиты: *местами они напоминают порфир, а местами — брекчию*, как заключил он, внимательно осмотрев их за пару минут. В половине одиннадцатого мы пришли в Хюттен — конечно же, порознь, ибо поклажа вскоре начала давить на мои легкие с

такой силой, что в проворном движении поэта вверх по склонам я увидел для себя несомненное преимущество: тяжелое дыхание пошатывающегося носильщика наверняка не доставило бы ему удовольствия.

Пастор местной общины по фамилии Блейель, окружной судья, а также некий Бэр, медикус и хирургус, встретили знаменитого путешественника превосходным завтраком. Господина фон Гёте потчевали раками из Хюттенского озера, сыром, фруктами и вином. Когда я благополучно достиг склона холма с террасой, хозяева и их высокий гость сидели под ореховым деревом и радовались погожему дню.

В два часа пополудни двинулись дальше. И шли, пока не случилось нечто неожиданное и прекрасное. Господин фон Гёте взмахом руки заставил всех остановиться, и даже Блейель, изъявивший желание показывать нам дорогу вплоть до монастырского села, вынужден был, не скрывая своего восхищения, признать, что никогда не замечал этого места, хоть и исходил тут все вдоль и поперек. Какой вид открывался отсюда! Слева, на горизонте, был виден город Цюрих, а вдали перед нами, высоко в небе, плавали вершины Тоггенбургских гор, похожие на

припорошенные снегом острова. Призывая нас сделать остановку, господин фон Гёте заметил падуб остролистный: *Ствол толщиной с мужское бедро и высотой, футов двенадцать*. Падуб указал поэту на это замечательное место? Или же чутье подсказало ему, что такой ландшафт не может не иметь хорошей точки обзора, — и лишь потом он заметил падуб, парящий над крутым склоном, словно посланец рая, и защищенный от ветров густым кустарником?

Я был так благодарен за подаренную мне возможность насладиться великолепным пейзажем, что готов был заключить всевидца в свое гулко стучащее от напряжения сердце. Взгляните на этого человека, подобного глазу! — думал я про себя.

Как сразу же выяснилось, он не только видел то, что было действительностью, но и распознавал скрытые в ней возможности, а посему предложил перегородить бурную Зиль близ Шинделлеги дамбой и таким образом создать здесь водохранилище. Правда, он тут же сделал оговорку, заметив, что осуществить такое предприятие *в демократическом кантоне немыслимо*. Вытянув шею из-под груды баулов, я со вздохом устремил тоскующий взгляд в ту сторону, где предполо-

жительно находилась Франция и откуда можно было ожидать прихода лучших времен. «Да, Ваша милость, — подумалось мне, — если жизнь у нас, благодаря французской succurs[14], потечет по законам настоящей демократии, то уж как-нибудь мы и водохранилища построим!»

В пять часов вечера господин фон Гёте и Блейель увидели вдалеке дома Эйнзидельна, пришли туда около шести и остановились в гостинице «У павлина». Я же, с моей тяжелой ношей, добрался до монастырского селения с некоторым опозданием, вследствие чего описание впечатлений, собранных моим патроном, затянулось чуть ли не до полуночи. Поэту явно приглянулись местные бабенки, однако он велел мне не делать об этом никаких записей.

Следующим утром — 29 сентября, в День святого Михаила — господин фон Гёте осмотрел церковь. Отделку хоров он нашел бессмысленной, от музыки был не в восторге, зато в монастырской кунсткамере, посетить которую пожелал после торжественной мессы, ему понравились

---

[14] Примечания: 14
Succurs — помощь (лат.).

голова кабанчика, красивые адуляры[15] *и средней величины гранат, ограненный самой природой.* (Продиктовано это было в самом музее.)

В одиннадцать мы покинули Эйнзидельн. И с каждым шагом по долине речушки Альп углублялись в ту кажущуюся невероятной тишину, в какую погружены меж скал лесные кантоны. Господин фон Гёте восседал на лошади, я же, неопытный в таких делах, тянул за собой на веревке норовистую лошадку по кличке Паула. И был ей благодарен, ибо она освободила мой горб от тяжкой ноши. Теперь она, а не я, тащила на себе баулы с книгами, платьем и инструментами, а также картонки с париками и шляпами, принадлежащими королю поэтов. Вот так мы и продвигались вдоль речушки Альп, по ее правому берегу с довольно сносной тропой: я — в веревочной упряжи, Паула — храпя и фыркая, любимец муз — держа правую руку перед челом наподобие козырька и наблюдая, наблюдая, наблюдая… Когда долина сузилась до ущелья, господин фон Гёте спешился. В часовенке возле тропы он увидел недобрую примету, сказал, что нам предстоит еще крутой подъем, и — ах! — сло-

---

[15] Примечания: 15

Адуляр — минерал (по местонахождению в горах Адула в Швейцарии).

ва эти вскоре оказались пророческими. Между тем я развьючил Паулу, и она, как меня и уверили в Эйнзидельне, немедля самостоятельно затрусила восвояси. Лошадь послушно последовала за ней, стук копыт затих, а поскольку ручей был мелководным, не говорливым, нас окружала теперь мглистая влажная тишь — мы находились в горах.

Вверх по ущелью. Земля под ногами сланцевато-глинистая. Туман все гуще. Однако скала, которая куталась в эту пелену, была ощутима — да еще как! На спине у меня со скрипом покачивались баулы, коробки и картонки, и уже через сотню шагов фрунцевские башмаки выглядели точно два голодных рта, вознамерившихся вгрызться в горную твердь. Я задыхался, я стонал. Ноша, достойная Атланта, сгибала меня так, что взгляд упирался в почву под ногами, из-за чего склон вставал передо мною вертикально, а когда я останавливался, чтобы перевести дыхание, то видел, как с одной стороны от меня клубы тумана опускались вниз, а с другой — подымались вверх. Теперь вообще ничто не нарушало тишину. Птицы остались в теснимом валунами лесу. Я полз по скользким камням в гору, силясь держать себя и драгоценный груз в равновесии, но все же раза

два или три ему удавалось пригвоздить меня к склону и тогда казалось, что я вот-вот испущу дух, подобно распятому Господу Нашему Иисусу Христу.

В конце концов моя Via Dolorosa все же привела меня к отлогому пастбищу, а затем и к хижине, из прокопченного нутра которой дохнуло дымом, послышался шум и возникла фигура с чертами то ли горного, то ли земного духа. Седые волосы буйно росли из ушей и ноздрей, свисали над глазами и покрывали широкую голую грудь. Дух этот назвался Хёрнлиманом, здешним пастухом, но быть ему тут, молвил он, осталось недолго: травы в Альпах жухнут, и зима скоро вынудит его спуститься со стадом в долину. Отдохнув настолько, что я смог свалить с себя груду поклажи — со стуком и звоном она разлетелась во все стороны, — и не видя перед собой ничего, кроме тумана, я воскликнул: «Смею доложить, Ваша милость, я уже пришел!»

Ответа из тумана не последовало. Сложив руки рупором, я повторил свой клич: «Ваша милость? Ваша милость! Господин советник! Господин советник!»

Ве-е-тник, ве-е-тник, звучало далекое эхо, *ве-е-тник, ве-е-тник*, и снова воцарялась тишина.

Больше я его никогда не видел.

Да, конечно, покорнейше… Аристократ с величавою осанкой, которого по поручению консорциума я сопровождал от Рейнского водопада до Швицер-Гаккена, вот уже больше часа как исчез, направив свои стопы вверх по склону. Исчез навсегда, ибо то, что теперь, когда вдруг засверкало солнце, являет себя возле одной из двух мощно вздымающихся вершин[16], это хоть и господин фон Гёте — несомненно, это господин фон Гёте, — только *этот* Гёте, будто обретя божественную сущность, перевоплотился в свое око.

Может, гребень горы колеблется? Слева клочья тумана вбирает в себя Швицкая котловина, справа — долина речушки Альп, а там наверху — истинная правда! — там Око все еще наблюдает, не ведая в эти минуты ничего, кроме стремления наблюдать, творить, царить и дивиться… И оно зрит и дивится, пока, взятое скалой в треугольную оправу, не утрачивает своего блеска и не позволяет всему, чем любовалось — всем этим кочующим в туманах вершинам, кручам, утесам, всем Альпам окрест себя, — погрузиться во тьму холодной горной ночи.

---

[16] Примечания: 16

Эти вершины известны сегодня как Большой и Малый Митен.

Вновь приоткрыв собственный глаз, я увидел, что нахожусь в черной от копоти пещере. Под котлом трепетали язычки пламени, и какое-то звероподобное существо, сидя на корточках, помешивало черпаком с длинной ручкой закипающее варево. Покопавшись в памяти и поразмыслив, я узнал в обитателе пещеры того альпийского лешего, который живет в пастушьей хижине и назвался Хёрнлиманом. Он дал мне попить отвара и делал это потом, судя по всему, неоднократно и через большие промежутки времени, ибо однажды в дверном проеме сияло голубое небо, другой раз плыла луна, а как-то утром, когда мне удалось подняться на ноги средь блеющих коз, бесшумно падали снежинки. Спросить о господине фон Гёте я не решился. Как узнал я позднее, он прошел через Бруннен и Альтдорф до Сен-Готарда, и одному богу известно, кто собрал у Хёрнлимана его вещи и понес их дальше. Оправившись от нервной лихорадки, я увидел на заснеженной земле лишь одну картонку для париков, да и та была пуста.

Всевидца Гёте я сохранил в памяти только как Око. Он был тем, что он видел.

Да, *был*. Когда по городам и весям распространилась весть о смерти Гёте, то об этом человеке,

его творениях и деяниях везде писали в самых учтивых тонах и даже господа члены тогдашнего консорциума, собравшись помянуть усопшего за стаканом пунша, пролили из своих глаз с их застылым цюрихским взглядом по нескольку слезинок. Больше мне сообщить нечего, и все-таки позволю себе закончить этот рассказ указанием на то, что богоподобное всевидение великого Гёте нашло живое подтверждение в его последних словах. «Больше света!» — воскликнул он, согласно преданию. И тогда Око закатилось — в иные миры и навеки.

Деревянный театр

Драматурги Томас Бернхард и Рольф Хоххут были друзьями. Однажды после полудня, зимой 1990 года, они ехали в вагоне «Интерсити», пересекая Германию, и — то ли потому, что встреча двух этих титанов театрального дела возмутила атмосферу, то ли из-за зависшего над Скандинавией циклона — на немецкую землю вдруг обрушился такой ураган, какого страна не знала все последнее столетие: он дробил дамбы, срывал крыши с домов, ломал, как спички, колокольни. В конце концов и Бернхард с Хоххутом, толковавшие в купе первого класса о директоре Бургтеатра Пеймане, выглянули из окна. Небо было черно, как море перед грозой, по воздуху неслись трактирные вывески, пальмы в кадках и зонтики, сигнальные мачты кренились, контактные провода раскачивались, конец света был близок. «Бернхард, никак, разыгралась буря», — спокойно заметил Хоххут, привыкший к бурям на театре. И тот, набрасывая на плечи непромокаемое пальто, согласно кивнул: «Непогодь».

И они снова заговорили о Пеймане, о его женщинах, а поезд, пронзительно гудя сигнальным

рожком, еще добрый час продвигался вперед черепашьим шагом. Потом вдруг крики, визг тормозов — состав остановился. Посреди леса. Возможно, это Тевтобургский лес, предположил Хоххут, а Бернхард, достав из-под плюхнувшего с полки багажа свою тирольскую шляпу, уверенно сказал, что локомотив врезался в падающие деревья и тут же сошел с рельсов. Кругом гудело и грохотало, но то не был шум пожара. Это бушевал ветер, это буйствовал ураган. Он с оглушительным треском откручивал стволы от корней и швырял обломки деревьев оземь.

— Это же великолепно! — вдруг воскликнул Бернхард. — Никогда не видел, чтобы лес валили с такой силой и таким размахом.

Хоххут собрал лоб в складки. Уж не тронулся ли Бернхард умом? И в самом деле: приподняв свою зеленую шляпку и пританцовывая, тот распевал задорную песню во славу ураганов, что косят деревья тысячами и делают цены на лес смехотворными. Потом, так же неожиданно посерьезнев, он обнял Хоххута за плечи, заглянул ему, немало озадаченному, в глаза и сказал с расстановкой:

— Дорогой друг, — сказал Томас Бернхард, — мы построим деревянный театр.

— Деревянный театр?

— Да, Хоххут, воспользуемся обвалом цен, купим лес задешево и построим из деревьев, поваленных ураганом столетия, деревянный театр.

— Дорогой Бернхард, — отвечал Хоххут, — вы же прекрасно знаете, что в большинстве театров даже сцена сделана не из дерева, — таковы правила пожарной безопасности! Например, в Бургтеатре, где меня, между прочим, играют очень и очень редко, при изготовлении декораций и кулис дерево использовать вообще нельзя.

— Правильно! — попытался Бернхард прервать собрата. Однако сделать это было совсем непросто, ибо Хоххут начал в деталях описывать пожар, случившийся в театре на Рингштрассе, называл цифры, даты, обрисовывал обстоятельства, так что во избежание срыва диалога Бернхарду пришлось несколько раз крикнуть «Правильно!»

— Правильно, Хоххут, правильно, там все из пластика.

— Вот именно, — не унимался Хоххут, — после того знаменитого пожара дерево из Бургтеатра начисто, а из многих других театров почти начисто…

— Исчезло, — прервал его Бернхард, — да, исчезло, его оттуда, можно сказать, изгнали!

— И вы хотите в такой ситуации, вопреки всем правилам пожарной безопасности, строить деревянный театр? — Голос Хоххута звучал так же резко, как голос патера Риккардо в его «Наместнике».

— Да, Хоххут, все — из дерева! Здание, фойе, гардероб, сцена, башня или куб над ней, кулисы… Всюду — дерево, ничего кроме дерева!

— А если он загорится, этот ваш деревянный театр?

— Вот и пусть горит! — воскликнул Бернхард. Глаза его горели, щеки пылали. — Это же хорошо, Хоххут. Настоящее искусство — это искусство сожжения на костре.

— Потрясающе! — сказал Хоххут и устремил взгляд ввысь. Он вдруг увидел перед собой громадную, как кафедральный собор, избу, увидел Байрейт, рубленный из дуба, который презирает все правила пожарной безопасности, все параграфы страховки, который служит исключительно искусству игры на подмостках, и в сердце у него тоже вспыхнула искра вдохновения, он как-то сразу воспылал любовью к деревянному театру.

Взволнованные до глубины души, оба драматурга пожали друг другу руки.

— Разведем такой костер, чтобы можно было

сжигать себя снова и снова, — сказал Бернхард.

— Создадим подмостки для наших костров! — подхватил мысль товарища Хоххут.

И вот уже перешагивая через чемоданы и пассажиров, оставляя за спиной вагон за вагоном, он начал пробираться вперед, к локомотиву, чтобы донести по радиотелефону до ошеломленного дорожного мастера следующую весть: используя могучий ураган в качестве повода, он, Хоххут, и его сподвижник Бернхард решили основать Первый Немецкий Деревянный Театр.

— Как вы сказали? — вскричал дорожный мастер, нервы которого были напряжены до предела, ведь именно на его участке срывалось в данный момент движение скоростных поездов «Интерсити». — *Что* вы решили основать?

И тогда Рольф Хоххут, стоя в кабине машиниста и устремив взгляд на поверженный Тевтобургский лес, прокричал в трубку ликующим тенором: «Говорит Хоххут. Всем, всем, всем. Городу и миру. Через дерево к огню. Искусство живо, пока оно пылает. Over[17].

---

[17] Примечания: 17
Здесь: конец связи (англ.).

От редактора

Томас Хюрлиман (р. 1950), швейцарский прозаик и драматург, — один из тех авторов, которых можно полюбить, прочитав первую же страницу какого угодно их текста. Для меня таким текстом стала новелла „Фройляйн Штарк“, действие которой разворачивается в наши дни в старинной библиотеке Санкт-Галленского монастыря. Эта книга была переведена на русский язык, как и ее продолжение, роман „Сорок роз“.

Герой новеллы, двенадцатилетний мальчик, работающий на каникулах в библиотеке, открывает для себя вселенную книг и знакомится с историей собственной семьи, попутно обнаруживая свойственную ему способность чувственного восприятия фактуры, запахов жизни… Такое камерное — заинтересованно-чувственное, не лишенное иронии и фантастических предположений — восприятие книжной культуры, традиции вообще проявилось и в трех исторических миниатюрах Томаса Хюрлимана, которые мы публикуем.

Классик швейцарской литературы Готфрид Келлер показан в момент, когда он безуспешно

пытается ускользнуть от торжеств по поводу его семидесятилетия. Диалог с кельнером заставляет прославленного писателя вспомнить прожитую жизнь и осознать горькую истину, относящуюся к его (или: ко всякому) искусству: „Чем хуже мне жилось, тем красивее становились слова. <…> В моих героях, в моих стихах запечатлелась та жизнь, на которую сам я был не способен“. И тем не менее рассказ заканчивается фантазийным катарсисом: два очень разных по своим взглядам человека, писатель и его возможный читатель, найдя наконец общий язык, „вместе полетели в ночь — поэт и господин Венделин, который теперь был птицей, большой птицей-тоской“.

Во втором рассказе нам представляется возможность увидеть великого Гёте глазами человека, швейцарца, которому довелось однажды тащить на себе его багаж. Гёте почти не воспринимает своего провожатого как личность (хотя тот достаточно образован, чтобы исполнять и функции секретаря), избегает напрямую обращаться к нему, говоря о нем как о предмете: Пусть он отдохнет, Фрунц. Тот же искренне восхищается знаменитым гостем Швейцарии и дает ему емкую проницательную характеристику: „Он был тем, что он видел“.

Третья история, про Деревянный театр, — самая фантастическая и крепче двух других сшивающая прошлое с настоящим. Немецкий драматург Рольф Хоххут (р. 1931), один из создателей документального театра, в 1990 году едет в поезде с другим знаменитым реформатором театра, австрийцем Томасом Бернхардом (который умер в 1989-м!). Застигнутые в Тевтобургском лесу апокалиптическим ураганом, два друга решают построить анахроничный Деревянный театр — руководствуясь, видимо, идеями почти забытого ныне, а в свое время скандально разрушавшего все стереотипы немецкого драматурга и прозаика Ханса Хенни Янна (название рассказа, „Das HoLztheater“, явно отсылает к названию символического романа Янна „Деревянный корабль“, „Das Holzschiff“), а также принципом, сформулированным в конце рассказа самим Хоххутом: „Искусство живо, пока оно пылает“.